

Николай Герасимович Помяловский

Мещанское счастье



Николай Помяловский

Мещанское счастье

«Public Domain»

1861

Помяловский Н. Г.

Мещанское счастье / Н. Г. Помяловский — «Public Domain»,
1861

Впервые опубликовано в журнале «Современник» (1861, № 2) с
подзаголовком «Повесть первая» за подписью «Н. Помяловский». Герой
повести – разночинец, борющийся за свое место в жизни...

© Помяловский Н. Г., 1861

© Public Domain, 1861

Содержание

МЕЩАНСКОЕ СЧАСТЬЕ	5
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Николай Герасимович ПОМЯЛОВСКИЙ

МЕЩАНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Егор Иванович Молотов думал о том, как хорошо жить помещику Аркадию Иванычу на белом свете, жить в той деревне, где он, помещик, родился, при той реке, в том доме, под теми же липами, где протекло его детство. При этом у молодого человека невольно шевельнулся вопрос: «А где же те липы, под которыми прошло мое детство? – нет тех лип, да и не было никогда». Припомнился ему отец-мещанин, слесарь, жизнь в темной конуре, грязь и бедность, и первые детские радости, смех и горе, и молитвы. Матери он не помнил; отец же ему представлялся очень живо. Он помнил, как, бывало, отец долго работает, пот выступит на его широком лице, а он, Егорка, тут же копаётся. Отец вдруг оставит работу, вздохнет на всю комнату, ущипнет ребенка за щеку и скажет: «А поди ко мне, чертёнок!», посадит его к себе на колени, любуется на сынишку, целует его крупными губами, поднимает к потолку, хохочет.

- Чего ржешь, тятка?
- Что, Егорка? а?
- Ржешь чего?
- А стих такой нашел.
- Ишь ты! – отвечает Егорка.
- А спеть тебе песню? – спрашивает отец.
- Спой, тятка.

И поет отец дрянным голосом песню. Детская жизнь Егора Ивановича совершилась в грязи и бедности; а вот и теперь он вспоминает ее с добрым чувством. Егорушка был мальчик бойкий: подпилки, клещи, бурава, отвертки, обрезки железа и меди заменяли ему дома игрушки.

- Из тебя, Егорка, лихой выйдет мастер; много у тебя будет денег.
- О! – говорит Егорка.
- Тогда не забудешь своего тятку?
- Я тебя, тятка, не забуду...

Отец беседовал с Егоркою как со взрослым, разговаривал обо всем, что занимало его: побранится ли с кем, получит ли новый заказ, болит ли у него с похмелья голова – все расскажет сыну.

- Башка трещит, Егорка: вчера хватил лишнее. Вырастешь, не пей много.
- Я, тятка, пиво буду пить...
- И молодец!.. Ты у меня молодец ведь?
- Еще бы! – отвечает сын.

Иногда отец советуется с ним.

– Вот, Егорка, деньги получил за работу, а завтра праздник: так мы шей сварим, пирог загнем, да еще чего бы? Киселя аль каши?

- Каша не в пример лучше...
- Ну, так каши, – соглашается отец.

И во всем так: идет ли отец гулять в церковь, в гости – везде с ним Егорка. Мальчик свободно относился к отцу, точно взрослый, да и живет он дома не без пользы: он и в лавочку сбегает, и заказ отнесет, сумеет и кашу сварить, и инструмент отточить, и пьяного отца разделет, спать уложит, да еще приговаривает:

- Ну, ложись!.. ишь ты, нарезался!..
- Молчи, Егорка!
- Ладно, не разговаривай, лежи себе...

Вот в подобных случаях выпадали тяжелые минуты в жизни Егорки. Иногда придет отец сильно пьяный, злой, непокладный и ни с того ни с другого поколотит сына...

– Не озорничай, тятка!.. черт этакой!.. право, черт! – отвечает ему сын.

– Врешь, каналья, врешь!.. Я тебе овчину-то натреплю...

При этом отец ловит Егорку за вихор и обижает его. На другой день отец все припомнит; ему совестно, он не знает, как и взглянуть на Егорку, как приступить к нему. Отец молчит, и сын молчит; у обоих лица пасмурные. Под вечер, выглянув исподлобья, отец сказал:

– Полно, Егорка; ну тебя...

– А! теперь и рожу в сторону!.. стыдно, небось, стало?.. А ты не дерись!..

– Да ну тебя...

– Ишь нарезался, на стены лезет!

Отец замолчал. Прошло несколько мучительных минут. Отец тяжело вздохнул на всю комнату. Егорка выглянул сердито и сказал:

– В лавочку, что ли, надо? давай! Чего молчишь-то? тут нечего молчать!..

Такая уступка со стороны Егорки служила шагом к примирению, и у отца отлегло от сердца. Впрочем, случалось, что отец и в трезвом виде давал своему сыну потасовку. Заспорят иногда: отец хочет киселя, а сын каши; отец закричит: «Молчи!», а сын отвечает: «Чего молчи? я тебе дело говорю». Отец и натрясет ему вихор. Только тогда уже отцов верх, и Егорка не знает, как подойти к нему. Но ссоры редко случались; отец большею частию соглашался, что «каша не в пример лучше киселя», тем дело и кончалось.

Слесарь был человек безграмотный; знал он свое ремесло, несколько молитв на память и без смысла, много песен и много сказок; работу он любил и часто говаривал: «Бог труды любит, Егорка», «Кто трудится, свое ест». Вот и весь нравственный капитал, который он мог передать своему сыну. Бог знает, что бы вышло впоследствии из мальчика? Вероятно, второй экземпляр отца, слесаря Ивана Ивановича Молотова.

Но судьба готовила ему иную жизнь. Егорушка скоро лишился отца. Тогда один профессор, по имени Василий Иванович, – а фамилию не скажем, – у которого слесарь работал и которому понравился сын его, взял Егорушку к себе. Василий Иванович был странный старик, и судьба его была странная. Смолodu ему трудно было победить науку, но он победил ее; хворал от бессонных ночей, но все-таки взял свое, веря в истину, что терпение и усидчивость все преодолевают, что в терпении гений. Он в прежние годы даже водку пил на том основании, что умный человек не может не пить; не любил женщин – тоже на ученых основаниях; был неопрятен, рассеян, нюхал табак. Он довольно поработал на своем веку, много перевел немецких и французских книг, а некоторые из его статей и теперь еще имеют значение как материалы. За наукою он так и позабыл жениться. Но чем он становился старше, тем делался опрятнее, водки терпеть не мог и с завистью смотрел на женатых людей. Жизнь, построенная на ученых основаниях, сказала; ему хотелось навестать бессемейность, и он полюбил своего воспитанника страстно. Беда к старой деве попасть на воспитание, но если старый холостяк полюбит ребенка, то он полюбит его горячо: так бабушки любят своих внуков. И Василий Иванович скоро превратился в бабушку, – и то умная была бабушка, хотя довольно старопечатная, древлеславянская. Егор Иванович как теперь видит честное лицо старика, его широкий лоб в морщинах, его добрые глаза под синими очками. Но Егорушка не сразу сошелся с своим воспитателем. Он слушался его во всем, учился прилежно, но все дичился чего-то и боялся: сам не вздумает подойти к старику, а все надобно позвать; не приласкается к нему, ничего не попросит; капризов никаких; всегда скромен, тих и застенчив. Старик заметит ему что-нибудь – без строгости, ласково и осторожно, чтобы не обидеть, а мальчик все-таки испугается, съжится и потом усиленно следит за каждым своим шагом. «Что это значит?» – думал с беспокойством старый человек. А дело было очень просто. То же бывает в сельских школах: он в глазах ребенка был «на бари́на похож». Если учитель говорит ученикам-мужичонкам: «Эй вы!.. тише!.. Слушай!.. когда вхо-

дите в школу, то сапоги, а у кого их нет, то ноги – вытирайте в сенях; в ладонь не сморкаться; на улице должны мне шапку снимать; не говорить мне ты, а вы», и т. п., что найдет он нужным заметить, – поверьте, школьник-мужичонко редко заставит повторять сказанное, почти всегда сразу запомнит и потом строго следит за собою. Как бы то ни было, учитель, если он только не деревенский дьячок, все же ходит в сюртуке, подчас в шляпе и с тростью в руках; значит, он на барина похож, а барина мужичонко слушает полным ухом. Сначала и Егорушка с тем же чувством относился к своему воспитателю. Кроме того, у Егорушки не было товарищей. Потребность товарищества для детского сердца старый человек опустил совсем из виду, и понятно, что вначале Егорушке тяжело было, дико было среди комнат профессора, которые ему казались уже очень чистыми и громадными после отцовской конуры. Ему хотелось бы повидаться с Микиткой беспалым, с которым он познакомился в кабаке, куда, бывало, отец посылал его за вином, повидаться с Лешкой столяровым, с Машуткой-подкидышем, которой он покровительствовал и за которую часто дирался с уличными друзьями; хотелось бы, задравши лихо рванный козырь на шапке, запустить свинчатку в кон; часто ему чудился молот наковальни, визг железа и меди; его тянуло за церковную ограду, куда целыми стаями собирались оборванные дети. Потому-то он иногда где-нибудь в углу плакал потихоньку, чтоб никто не видел; он любил заходить в кухню к лакею профессора, человеку старому, как сам профессор, – там ему было привольнее.

– Что ты, Егорушка, все скучаешь? – спросил его однажды слуга.

– Домой хочу, – ответил мальчик и вдруг разрыдался.

– Что ты?.. что ты?.. бог с тобой! – говорил оторопевший слуга. – Ведь ты теперь барчонком стал.

Мальчик плакал...

– Ну, на, голубчик мой, съешь вот это, съешь, Егорушка.

Лакей гладил мальчика по голове и совал ему в рот кусок сахара; но тот все плакал.

– Эка беда! – сказал лакей и пошел позвать профессора...

– Домой хочу, – твердил Егорушка и Василью Иванычу.

– А у меня жить не хочешь? – спросил старик.

– Не хочу.

Крепко задумался профессор...

– Ведь здесь лучше, Егорушка!

– Нет, дома лучше...

– Пойдем же домой, – сказал старик...

И вот пришли они на старую квартиру, где прежде Егорушка жил с отцом. Там теперь поселился сапожник, все переменялось; мальчик не узнал своего старого гнезда.

– Сходимте на ограду, – попросил он.

И здесь Егорушка не встретил никого из старых знакомых... Тогда Егорушка остановился в недоумении, подумал, взглянул пытливо на профессора и потом застенчиво, потупясь в землю, шепотом сказал:

– К Машутке сходимте...

– К какой Машутке?

– Вон там живет...

Старик подумал, покачал головою, однако согласился... Но оказалось, что Машутку отдали в науку, на другой конец города. Тогда-то понял Егорушка, что старая жизнь никогда не воротится, нигде ее не отыщешь, пропала она. Мальчик инстинктивно прижался к старику. Это тронуло старика.

– Ты мой теперь, Егорушка, – сказал он.

Много было доброго, стариковского чувства в этих словах. Егорушка невольно поддался их влиянию и с той минуты стал доверчив к старику и полюбил его. Они весь вечер провели

вдвоем. Егорушка рассказывал о своей прежней жизни, и профессор подивился, как сильно был привязан этот мальчик к своему углу, к отцу, старым товарищам и играм.

С тех пор старик внимательно следил за Егорушкой, слушал его рассказы, испытывал его понятия и наклонности и скоро увидел, что мальчик имел доброе сердце и хорошие способности, но грубоват, неотесан, с дикими понятиями о боге, людях, жизни и природе. Старик стал проводить с ним вечера, рассказывал совершенно о ином боге, какого он и не знал до сих пор; ему не верилось сначала, что бог совсем не тот старик, которого он видел на иконе. То же самое случилось, когда старик усердно и радушно старался объяснить ему явления природы и рассказывал об исторических лицах и событиях. Многие внушения и взгляды впоследствии, когда Молотов развился, отведал новой науки и стал самостоятельно вглядываться в природу и жизнь, были отвергнуты им тогда снова, в третий раз, он увидел, что бог и люди совсем не то, что он думал; но теперь все было для него в речах старика поразительно и ново, он увлекался, для него открылся новый, до тех пор неведомый, роскошный нравственный мир. Недолго совершалась борьба в детской душе; Егорушка скоро бросил старую жизнь. Он не перестал любить своего отца, старых знакомых и товарищей, но ему жалко было их, и он усердно молился за них богу. Иному невероятным покажется, что в детской душе на двенадцатом году жизни могла бы совершиться серьезная моральная борьба, какая бывает в душе юноши. Да, невероятно, потому что мы родились в более или менее образованной среде, и многие истины приняли обыденный характер в нашей жизни; а неужели вы думаете, что двенадцать лет невежества легко уступят новой жизни? Он до сих пор помнит, каких мучений моральных и сомнений стоила ему та истина, что не Илья-пророк производит гром. Ничего сразу не давалось, ничему новому не верилось, его не тому учил отец. Спорить с профессором он не мог, сил не хватало, но его детские убеждения были органическими убеждениями, вошли в него с молоком матери, развились под влиянием отца. Потому и совершалась в его душе борьба серьезная, с болью, хотя исход она получила скоро, потому что Егорушка был молод, а старик умен и вкрадчив. Нравственная работа принесла пользу Молотову: он научился не верить старине и авторитету, – и то, что нами в молодости принимается на слово, вот так, как он принимал на слово, что Илья гремит на небе, у него было переварено собственной головой; он привык к самостоятельности, к уменью отрешаться от ложных взглядов. Он стал человеком, способным к развитию, и потому-то впоследствии он бросил многие убеждения, воспитанные в нем стариком: у него стало на то силы; но он не посмеялся над стариком, потому что когда-то верил ему. Мальчик полюбил науку; он инстинктивно чувствовал, что чрез нее только станет человеком, потому что он не был породистым мальчиком. Старик радовался, глядя на ребенка, как он усидчиво занимается книгой, и чрез год нельзя было узнать в Егорушке прежнего Егорку – грязного, оборванного, босоногого, из уст которого нередко слышалось площадное бранное слово. Микитка беспалый, увидав его, не поверил бы, что этот мальчик, так прилично, по-барски одетый, так скромно идущий по улице, был слесарский Егорка, прежний друг его закадычный. Перемена в жизни Егорушки, очевидно, была к лучшему. Но у него по-прежнему не было игрушек, дамочек фарфоровых и гусаров деревянных, бубенчиков и лошадок, барабанов и солдатских киверов; он после уроков что-нибудь строгал, лепил или рисовал; страсть к таким занятиям у него осталась навсегда. Если же ему не хотелось ничего мастерить, он уходил в кухню к лакею, или садился у камина и смотрел в огонь, или же был подле старика. Эта уединенная жизнь в товариществе старых людей, редкие ученые гости, редкие выезды, причем мальчик на короткое время виделся с другими детьми, отсутствие женщин, серьезные речи положили особый отпечаток на личность дитяти. Жизнь в кабинете старика сделала его застенчивым, против чего он после долго боролся. Он остался несколько угловат и неловок, тем более что и сам профессор не был светским человеком. Егорушка был не по-детски серьезен, но в то же время у него не было идеальной худобы в теле и бледности в лице; это был не заморенный мальчик; он был очень здоров.

Быстро пролетел гимназический курс. Молотов вырос, развился, но, в сущности, жизнь его мало переменилась. Он стал больше ростом и учение, с товарищами мало сошелся, в гимназии был только во время классов, считался умным мальчиком и шел в первых учениках. Только за полтора года до университета он узнал дружбу, коротко сблизившись с сыном одного чиновника Андреем Негодящевым. Они оба попали в университет казеннокоштными студентами. Дружба их была оригинальная; их называли «непримиримыми друзьями», потому что они постоянно бранятся и спорят между собою, а один без другого жить не могут. Бывало, придут после лекции, станут читать какого-нибудь поэта или философскую статью, заспорят, раскричатся, дело коснется личностей, обоим заберет самолюбие, начнутся насмешки, чуть не брань. Как ужиться при подобных условиях? Но в следующий раз они опять встречаются с радостью и, несколько не стесняясь, сообщают один другому всевозможные вопросы и все личные взгляды, и это не по обязанности, что друзья должны быть откровенны, а просто им не удержаться было от разговору. Оба они не любили пресной дружбы, а потому часто они выводили один другого на свежую воду. Профессор удивлялся их ярким речам; иногда вставит и свое слово; тогда оба дружно сцепятся со стариком, начнут доказывать отсталость его идей. Добродушный Василий Иванович замахает руками. «Ладно, ладно! – кричит. – Мы стары!.. где нам?» – «Так что ж такое, что стары?» – напустятся на него студенты. «Отстаньте!» – ответит им старик, закроет уши руками и уйдет в кабинет. Наши друзья продолжают воевать. И как могли сойтись эти совершенно противоположные характеры? Один был сын мещанина, другой чиновника; один вырос в большой семье, между братьями и сестрами, другой в товариществе старого профессора. Молотов любил говорить о широких началах, общемировых идеях и заморских вопросах; «жизнь, природа, человечество» – на этих предметах постоянно вертелись его мысли; он смотрит идеалистом, хотя, странно, он всегда осторожен, аккуратен, осмотрителен, и всегда у него есть деньги; Негодяшев же терпеть не мог общих рассуждений, говорил все о карьере, называл себя практическим человеком, хотя и часто бывал без денег, любил кутнуть и иногда пропускал лекции, необходимые для студента. Негодяшев был на юридическом факультете и говорил, что он пойдет в чиновники; Молотов – на историческом и никогда не думал, что из него выйдет. Негодяшев был ловок, речист, иногда лгал немного, мастер подделываться под характер людей; он был франт и всегда одет щегольски; а Молотов – тяжел, говорил много – не когда угодно, а лишь в минуту увлечения, прям был на слова и резок, неподатлив; на нем мундир сидел не так ловко. Молотов не сразу усваивал принципы новой жизни, но они крепко врастали в его душу; Негодяшев увлекался быстро. Негодяшев уже успел влюбиться и поклясться дочери одного чиновника в вечном и пламенном чувстве, в чем и сознался другу в душевной беседе; а друг отвечал, что он не понимает еще этого чувства, что он мало видал женщин и совсем их не знает. Негодяшев говорил, что он довольно опытный человек и людей несколько знает. Негодяшев был более пессимист, а Молотов – оптимист. Они и наружностью не похожи: Негодяшев высокого роста, бледнолицый, черномазый и с волосами до плеч, а Молотов среднего роста, плечистый, с румянцем на широком лице, коротко острижен, глаза у него серые... Так, по законам дружбы, существующим искони, сошлись между собою люди противоположных характеров. Но дружба, основанная на этих законах, редко бывает прочна и кончается добром; такая дружба обманчива, ее разъедает постоянное противоречие, в ней зреет вражда. Случилось то, что часто случается с такими друзьями: Молотов попрекнул чем-то Негодяшева, и они разругались не на живот, а на смерть. Тогда Молотов испытал ту молодую ненависть, когда вчерашний друг представляется ни больше ни меньше как гадиной, оскверняющей человечество, когда думается, что самое ужасное наказание другу – презрение к нему, хотя друг то же самое думает, и когда оба рады примириться, только не хочется первому просить мира. Молотов и Негодяшев воображали, что они ненавидели друг друга, а между тем они любили друг друга; они еще не знали, что значит ненавидеть.

Тогда же с Молотовым случилось и другое несчастье. Его старик опасно занемог. Молотов дни и ночи проводил у постели больного. Горькое настало время. На шестнадцатый день старый человек сказал Молотову:

– Скоро умру, Егорушка... вся грудь высохла... не забывай меня... поминай...

Молотов наклонился и поцеловал его руку.

– Утешил ты меня, Егорушка... спасибо... и я тебя любил...

Молотов заплакал.

– Полно... не плачь... что ж делать? – говорил шепотом умирающий. – Пора!..

Старик тоскливо посмотрел на Молотова. Потом он стал говорить о завещании, – это самая бывает трудная и мучительная минута для присутствующих, когда человек актом, на гербовой бумаге совершенным, отказывается от всех прав собственности и власти, какие успел приобрести во всю жизнь свою... Молотов рыдал, а старик говорил, что у него есть статьи, приказывал отослать их в Москву; деньги за них назначил на раздачу нищим, велел помянуть Евдокию, сестру его, умершую давно уже, и давал предсмертные увещания:

– Честно живи, Егорушка... богу молись... старших почитай...

Потом больной велел принести образ и, благословивши своего воспитанника, забылся на время. Молотов отошел к окну и долго смотрел бессмысленно на улицу. Чувство сильного горя и одиночества охватило душу восемнадцатилетнего юноши. «Один во всем мире!» – эта мысль подавляла его душу, жала мозг его. Но... настала развязка старой жизни. Молотов подошел к постели: старик лежал неподвижно; глаза были открыты...

– Добрый мой учитель, – прошептал Молотов, поцеловал его в лоб, поцеловал его руку и закрыл глаза.

Долго он смотрел в лицо мертвому – оно было спокойно и безответно.

На третий день похоронили профессора. На похоронах была всё ученая братия, всё старики, один лишь молодой человек – Молотов, и ни одной женщины. Помянем добрым словом человека доброго и немало потрудившегося на веку своем...

Наследства Молотов получил около четырех тысяч ассигнациями, большую часть мебели он продал, переехал на новую квартиру, где и повесил портрет старика над диваном. На новой квартире скучно проходили каникулы. Молотов пошел однажды к товарищу, Череванину, о котором говорили, что он «с философским направлением» (мы с ним встретимся еще), и у которого любили собираться студенты. Здесь он встретился с Негодяшевым. В душе Молотова шевельнулось все доброе старое, слезы стали к горлу подступать. Негодяшев отвернулся в сторону. Молотов первый заговорил:

– Андрей, полно злиться...

Что, если бы его оттолкнул Негодяшев? Но этого быть не могло. Возвращение от вражды к дружбе было внезапно. Негодяшев бросился на шею к Молотову. Они поуменьли, вспомнили вражду, хохоту было немало.

– Андрей, – сказал Молотов, – мы теперь будем осторожнее.

– А что?

– Опять поссоримся.

– И помиримся опять – вот и все.

– Опять переедаться будем?

– Будем.

– Ну, как хочешь.

Тем и кончили. Быстро понеслось время. Теперь только, на втором курсе, Молотов сошелся с товарищами. Его полюбили. Молотову прекрасными людьми представлялись товарищи – бодрые, смелые, честные, за общее благо готовые на все жертвы, оригиналы. Не думалось тогда Егору Иванычу, что многие из них потеряют и бодрость, и смелость, и оригинальность, и способность к жертвам, а некоторые даже... и честность. Но тогда верилось и жилось

хорошо. Вообще он мало знал жизнь; у него было мало знакомых: знаком он был с семейством Негодящева и с семейством еще одного чиновника, Игната Васильевича Дорогова, с купцом, у которого учил сына, да с хозяйкой своей квартиры. Он жил товарищеской и университетской жизнью. Между тем Молотов никогда не имел претензии на ученую или художественную карьеру; ему придется действовать в чисто практической сфере, одному, без друзей, без родни, без знакомых, без ясного сознания цели в жизни, но с детски ясным взглядом на мир божий. Как-то он будет жить в людях с подобною подготовкою?

По окончании курса Негодяшев уехал в губернию на службу. У Молотова от наследства остались кое-какие крохи, и он несколько времени промышлял в столице дешевыми уроками и вот уже три месяца живет у помещика Аркадия Иваныча Обросимова.

С балкона барского дома открывается во все стороны прекрасный вид: деревня в яблонных и липовых садах; направо, налево виднеются еще деревушки; на горе церковь, отовсюду леса, пашни и луга; к западу бежит речка – небольшой приток Волги. Тишина стоит в воздухе; природа облита заревом вечернего солнца. На балконе Егор Иваныч Молотов и Елена Ильинишна Илличова – молодой человек и молоденькая, хорошенькая девушка; значит, повесть начинается. Они смотрят на дорогу, на дороге поднялась пыль, слышны голоса животных, идет стадо с поля; с другой стороны шлепает огромное стадо гусей и уток – все это повалило мимо барского дома. Леночка имела полное право сказать:

– Какая поэзия!.. прелесть!..

Молотов молчал.

– Посмотрите же, Егор Иваныч...

– Где поэзия? – спросил он.

– Да вот – стадо.

Молотов усмехнулся.

– Ну какие вы! – сказала Леночка.

– Что же?

– Тут чувство нужно, а нечего умничать.

Молотов уклонился от разговора о поэзии. Он, несмотря на то что был юноша двадцати двух лет, не часто говорил об интимных предметах и важных материях. «Говорить о таких вещах, – думал он, – так говорить серьезно». А серьезно говорить приходилось редко. Он боялся фразерства и потому не проповедовал новых идей, не кричал о прогрессе, редко позволял себе нежные слова и возвышенные речи, хотя в университетском кружке, а особенно с Андреем, он, бывало, спорил до слез и до глубокой ночи о том самом, о чем теперь он смалчивал. Он стеснялся завести с женщиной разговор о ее призвании, о поэзии, о любви; он никогда не был влюблен, читал о любви, слышал, размышлял о ней, но сознательно не понимал любви и потому боялся наговорить о ней вздору. Он вообще не любил петь с чужого голоса, проповедовать заученное, кидаться из стороны в сторону, находясь под влиянием только что прочитанной статейки. Заговорят, например, о любви, и кто-нибудь обратится к нему за мнением, он всегда как-то съежится и неловко уклонится от ответа, не потому, чтобы считал разговор о таком предмете пустым или неприличным, а по какой-то непонятной застенчивости, робости и стыдливости, хотя он и не был тем, что называется «красною девушкою». Боясь инстинктивно говорить о высоких предметах, он в то же время не мастер поддерживать дамский вздор и дребедень, хотя бы и не прочь от того: «Что же, не все серьезное: наука, да искусство, да восход солнца»; а потому в обществе держался ближе к мужчинам и пожилым дамам. Самая фигура его показывает, что он не создан дамским кавалером. Егор Иваныч был среднего роста, плотно сложен и широк в плечах, несколько сутуловат; его нельзя назвать красавцем, но выражение лица доброе, и в серых огромных глазах светился ум; лоб большой, ноздри широкие, крупные губы плотно сжаты, подбородок выдался вперед. Он казался мужественнее своих лет. Егор

Иваныч имел большие руки, сильные и мускулистые, с толстыми пальцами и коротко остриженными на них ногтями; ступня ноги была большая. Внешние приемы его не были безукоризненны: походка тяжеловата, с перевалом и крупными шагами; французский язык знал, но имел плохое произношение, потому и воздерживался от этого элегантного диалекта; он смеялся слишком громко, стеснялся при женщинах в первую минуту, а потом говорил с ними как с мужчинами, вставляя часто словцо, нетерпимое в дамских речах. Но он не был циник, был опрятен и чистоплотен, любил порядок и немало сокрушался о своих внешних недостатках. Но эти недостатки обнаруживались сами собою, особенно когда он, увлекшись, не вытерпит и заговорит, как прежде, в кружке товарищей: тогда, в монологах, его голос поднимался несколькими нотами выше, но лишь только ему возражали, он выслушивал спокойно, отвечал хладнокровно, и чем более направляли на него насмешек и острот, тем он становился хладнокровнее, заметно сдерживая себя и сосредоточиваясь. Он в этих случаях был очень деликатен, на остроты не сердился: смешно, так и сам смеялся, но терпеть не мог, когда не давали человеку высказываться. «Зачем говорить с человеком, если его самого не выслушивать? он тогда ничего не поймет», и потому голос его тогда лишь поднимался, когда его была черед говорить. Он не любил горлом брать. Однажды к Обросимову заехал один помещик, человек с авторитетом и во всем околоте считавшийся умным. Он разговорился с Молотовым, скоро напал на современную тему, взял молодого человека за пуговицу и целый час развивал свои идеи. Молотов целый час усиливался вставить свое слово; авторитет закричит: «Помилуйте, как этого не понять?» Молотов продолжает слушать, но лишь улучит минуту и вставит свое слово, помещик опять кричит: «Помилуйте, как этого не понять?» и продолжает сыпать снова. Наконец авторитет истощился, и последние слова его были: «Кажется, ясно?» Молотов ответил: «Ясно, но у меня есть свои возражения». — «Помилуйте, какие же могут быть возражения?» — «Может быть, неосновательные, но если они останутся, то я все-таки...» — «Могут ли они быть основательными?» — перебил его помещик и перешел к новой теме. «Зачем же он говорил со мной?» — думал Молотов и назвал его в душе болваном, хотя помещик говорил неглупо и с этим соглашался и Егор Иваныч. Зато с самим Егором Иванычем говорить было легко... Леночка не первый день знакома с Егором Иванычем. Она часто бывает у Обросимова, своего крестного отца, и не раз проводила время с Молотовым; он тоже бывал в гостях у матери Илличовой. Леночке случалось слышать, как Молотов, подавив в себе застенчивость, увлекался разговором. Она однажды прямо ему сказала: «Я люблю, когда вы говорите», после чего он постарался замять разговор. У Леночки и сегодня явилось невинное желание вызвать Молотова на разговор. Желание не исполнилось.

На балкон вышел Аркадий Иваныч с дочерью Лизаветой Аркадьевной. Лизавета Аркадьевна была женщина высокая, стройная, красивая. Она года полтора назад лишилась мужа, директора одного из петербургских департаментов. Вдова приехала к отцу гостить весну и лето. Скоро вбежал на балкон Володя, сын Обросимова, а наконец явилась и сама хозяйка, Марья Павловна. Аркадий Иваныч предложил прогулку на воде; все были согласны и минут через двадцать сидели в лодке. Молотова просили грести. Под его руками лодка пошла быстро. Речка бежит среди липового леса и яблонь, отряхивающих розовые цветы в ее тихую воду.

— Вы устанете, — заметила Марья Павловна.

— Ничего-с, — ответил Молотов и в один прием подвинул лодку на полсажени.

— Я люблю быструю езду, — сказала вдова, — она — как все сильное, энергичное, выходящее из ряда обыденных...

В это время лодка на повороте реки обогнула угол, и неожиданно из-за яблонь солнечные лучи ударили прямо в глаза гребцу, что заставило его опустить весла. Когда женский страх прошел, все стали смеяться.

— Вам солнце мешает, — сказала Леночка и защитила его зонтиком.

Леночка быстро овладела разговором, с удивительной легкостью переходила с предмета на предмет; рассказала, как она тонула однажды; что у них новый дьячок; про козу свою рассказала; от козы перешла к дяде, к няне, подругам; после этого ей ничего не стоило заговорить о цветах, о новом платье; а чрез несколько минут она говорила, что терпеть не может пауков и тараканов, что она любит толстые пенки на сливках, клубнику и запах резеды. Черноглазая болтуня была неистощима. Лизавета Аркадьевна смотрела на Леночку пристально, наблюдала ее, изучала, как любила выражаться, нарочно вызывала на болтовню, причем и делала тонкие иронические замечания. Егор Иванович видел, что Обросимовы об Илличовой имели понятие как о девочке пустой и легкой. Только отец поддерживал свою крестницу и гостью и, казалось, понимал ее иначе. Леночка не догадывалась, что над нею смеются и с намерением заставляют говорить.

– Я завидую легкости вашего характера, – сказала Лизавета Аркадьевна с едва заметною улыбкою.

– Я веселая!.. – отвечала простодушно Леночка и при этом ударила в ладошки.

Проехали еще около версты и потом положили вернуться домой. Молотов повернул лодку; ее понесло вниз по течению. Он сложил весла.

– Папа, позвольте мне править.

Обросимов уступил дочери руль. Она довольно верно повела лодку. Когда доехали до деревни, где жила Леночка, она просила остановиться. Высадили ее на берег, простились и отправились дальше. Немного погодя Лизавета Аркадьевна сказала:

– Кисейная девушка!

– Лиза! – начал с упреком отец...

– Да что, папа! – перебила Лизавета Аркадьевна, – ведь жалко смотреть на подобных девушек – поразительная неразвитость и пустота!.. Читали они Марлинского, – пожалуй, и Пушкина читали; поют «Всех цветочков боле розу я любила» да «Стонет сизый голубочек»; вечно мечтают, вечно играют... Ничто не оставит у них глубоких следов, потому что они не способны к сильному чувству. Красивы они, но не очень; нельзя сказать, чтобы они были очень глупы... непременно с родимым пятнышком на плече или на шейке... легкие, бойкие девушки, любят сантиментальничать, нарочно картавить, хохотать и кушать гостинцы... И сколько у нас этих бедных, кисейных созданий!..

– Ты Леночку не знаешь, – сказал отец, – оттого и говоришь так. Она девица очень добрая.

– Добрая? – ответила дочь с досадою. – Знаю, очень хорошо я это знаю. Они все у нас добренькие: всегда спасут муху из паутины и раздавят паука...

– Я тебе советую познакомиться с нею покороче; тогда ты ее полюбишь...

– Я ее и теперь люблю, папаша, разумеется, как можно ее любить... как птичку? цветок... как хорошенький узор... не больше... Она не способна отвечать на привязанность глубокую, на страсть сильную...

– Держи от берега дальше, Лиза: там очень мелко.

– Хорошо, папа... Скажите, чем можно привязать ее? подарить фунт конфет? шелковое платье?

– Жениха хорошего, – сказал Обросимов.

– Что, папа?

– Хорошего жениха... только не дари ты ей портрета Жорж-Занда.

– Вы, пожалуй, правду сказали. Да, для этих девушек одно спасенье – в женихе... Пока не замужем, они мечтают... вы думаете, об идеале? нет, о душках, и между тем очень хорошо понимают, что вся цель их стремлений – жених, о чем и хлопочут мамы и папы... душка сам по себе... Да и к душкам своим эти девушки имеют какие-то странные отношения: они не способны ни к какому решительному шагу, они не полюбят без позволения папы...

– У ней, Лиза, нет отца.

– Все одно – мамыши.

– Мамыши она не боится, потому что командует всем домом. Как же это, Лиза, не зная человека, говорить о нем? Могла ли ты так скоро понять Леночку?

– Она дала мне три сеанса – этого довольно: ее портрет я могу написать во весь рост... Я пыталась развить ее...

– В три сеанса?

– По крайней мере понять, может ли она развиваться. Бывают натуры нетронутые, а эти? Кисейная девица, девица-душка!

– Лиза, ведь ты бранишься, – сказал отец.

Лизавета Аркадьевна вспыхнула.

– Я знаю Леночку лучше тебя, – продолжал Обросимов, – она умная и добрая девица, только необразованная и держать себя не умеет – в этом не она виновата... Наконец, ты не имеешь права говорить так резко о Леночке...

– Почему же, папа?

– Потому что ей жених нужен, пойми ты это.

– Фи, какие понятия!

– Самые здравые понятия. Ведь она неспособна к страсти глубокой? да? сама сказала, что для таких девушек – одно спасенье в женихе... Так не сбивай же ее, пожалуйста, с толку, не навязывай ей того, к чему она неспособна!.. зачем это? Оставь ты ее в покое... А то ведь «кисейная девушка», «душка» – это такие выражения, что могут испортить ей репутацию...

– Но, папа, могу же я иметь свое понятие о ней?

– Не совсем...

– Как так?

– О девушке не только мужчина, но и женщина должна выражаться осторожнее; между девушкой и женщиной большая разница.

– Разумеется, большая: девушке жениха нужно.

– Непременно-с...

– Отчего же, папа, после этого не сказать и так: о мужчине не только женщина, но и мужчина не должен говорить худо, потому что ему невеста нужна?.. То же самое, папа!..

– Совсем не то, несколько не похоже... Впрочем, Лиза, оставим этот разговор...

– Отчего же, папа?

– Ну, мне неприятно продолжать разговор... оставь, пожалуйста...

Лизавета Аркадьевна замолчала. Близко была Обросимовка.

– Этак говорить нельзя, – прибавил отец, – и твоего Жорж-Занда можно на смех поднять.

– Ведь мы оставили, папа, этот разговор...

Отец замолчал. Лодка причалила к берегу. Все отправились домой. Но Обросимов не утерпел и прибавил еще:

– Тебе хочется жить по-своему, и другим хочется. Что тебе за дело до Леночки? пусть живет как знает...

– Ах, папа!.. это скучно наконец, – ответила дочь.

Тем и кончили. Обросимов пошел с женой и сыном, а Лизавета Аркадьевна подошла к Молотову. Молотов был согласен с принципами вдовы, но не хотел согласиться относительно Леночки. «Она, кажется, не такая, – думал он, – если она неразвитая, так развейте; не можете, нельзя, так не троньте». Так он сумел согласиться с обоими спорившими...

– Какой чудный вечер! – сказала Лизавета Аркадьевна, и, начав с этого, она незаметно разговорилась, припомнила другие вечера, проведенные ею некогда в Италии; потом вспомнила Жорж-Занда, а там перешла к Татьяне Пушкина – Татьяну побранила за то, что она не отдалась Евгению, который оттого и погиб. Много о чем говорила вдова... Егор Иваныч больше молчал; Лизавета Аркадьевна не то чтобы разговаривала с ним, а больше поучала его, хотя он

и не догадался о том. Когда они расстались, Молотов подумал: «Какая разница бывает между женщинами – Леночка и Лизавета Аркадьевна!.. Положим, Илличова – кисейная девушка, а эта? Не знаю. Только с каждым днем я убеждаюсь, что попал к добрым людям...»

Егор Иваныч отправился на крыльцо. Здесь он сидел один-одинешенек, опершись подбородком на ладони и глядя на длинные седые облака, которые еле тянулись по небу... Настали сумерки; горит заревом лишь то место, где закатилось солнце... Он сидит, ни о чем не думая... Ветры утихли, спать легли; дневные птицы молчат, а ночные не подали еще своих голосов; одни насекомые наполняют воздух жужжаньем, свистом и стрекотом, да кричат играющие ребятки – где это: у реки или на задах?.. Промычала корова... раздается плач ребенка: «Ой, бойно, бойно; мамка, бойно!» – чего он плачет?.. Какие-то неуловимые звуки, неопределенные: то будто шум пронесется в воздухе; не было ветру, а вот покачнулась береза; в ухе звенит... Все становится темнее и темнее... тихо... но вдруг набегаёт чуть заметный ветерок; он отстал от майских братьев своих, а братья ушли туда, где спряталось солнце. Это он поднял из сада запах сиреней и тополей; от него, как мошки, полетели липовые цветы и осыпали дорогу, крыльцо и плечи Молотова. И сидит Егор Иваныч и глядит – чего он тут глядит? Он, отдаваясь безотчетно природе, сливается с нею и в свою очередь составляет одно из явлений ее. Вон и старуха целый час глазеет из своей избушки и на Молотова, и на облака, и на кресты кладбищенские, и на туманную полосу воды на западе; и Обросимов глазеет из своего окна; и кляча, вытянув шею и положив на изгородь морду, тоже глазеет на все окружающее. Все сливается в одну картину, в единую жизнь природы, в которой всякое мелкое явление, всякая былинка, звук, вздох и шорох поют вместе с вами что-то кроткое, тихое, душевное, благоуханное... Совсем сливаются предметы... По реке, по горам встали длинные, безобразные, громадные тени... Что это?.. чудная птица, стоголосый соловей пустил над рекою свой яркий, сладострастный рокот. Долго поет прекрасная птица, а река спит под темно-голубыми небесами, спит деревня, леса, поля и теплый воздух; заснули люди и животные... и соловей задремал... тише... тише... Озноб пробежал по телу; брезжит утро; загорается ранняя заря, а с ней опять майская жизнь... Так совершаются в природе майские погоды, цветут весенние звезды, темно-голубые и темно-синие ночи и первые зори!.. Все это наше!.. Будем гулять, охотиться, купаться и, измаявшись, поужинаем с деревенским аппетитом и заснем здоровым сном на сенике... Вот и отжит день; он уже никогда не повторится в жизни: не те будут цвета и подробности, не тот смысл дня. Но жалеть ли о нем? Нет, пусть идет себе жизнь... А ведь хорошо жить на свете? – Хорошо. Ну, и пусть его хорошо.

Мы не сказали еще, зачем и на каких условиях Молотов живет в Обросимовке. У Аркадия Иваныча была заматорелая тяжба, которую он непременно хотел покончить – так или иначе; для этого дела ему нужен был человек, который бы следил за тяжбою, ездил в город, сносился с чиновниками, потом ему хотелось составить подробную ведомость своему имению; потом надобно было привести довольно большую библиотеку в порядок и составить ей каталог. Когда Молотову предложили заняться всем этим за сорок рублей в месяц, причем предлагали готовый стол и комнату с отоплением и освещением, – он отказывался совершенным незнанием судейского дела и деревенской статистики; но его успокоили, обещая поучить на первых порах. После этого Молотов, долго не думая, продал все, что было у него движимого, оставив у себя только образок, которым благословил его воспитатель, портрет его, некоторые книги и вещицы, сосчитал несколько рублей в портмоне – и покати́л в Обросимовку. Ему понравились и деревня и обитатели деревни. Он живет здесь около трех месяцев и успел познакомиться со всеми. Особенно нравился Молотову сам помещик; он был прекрасный хозяин, человек образованный, бывавший за границу. Крестьяне называли его «отцом родным» и благоденствовали сравнительно с крестьянами других помещиков. В числе более полутысячи его крестьян можно было насчитать около двадцати, ни разу не бывших жен своих, что, как известно, не у нас только редкость. Наказывать женщин он строго запретил, считая это варварством. Обро-

симов даже школу хотел завести, но как-то не собрался. Он слыл отличным соседом-хлебосолом и отличным семьянином. Человек он был пожилой, с красивым и умным лицом – такие лица бывают у некоторых наших бар, а именно бар деловых; спокойствие, уверенность в своих достоинствах, степенность и приветливость разлиты были во всей его фигуре. По крайней мере он таким представлялся Молотову.

Молотову легче было войти в свет, нежели другим образованным юношам темного происхождения. Он спрашивал себя: «Где те липы, под которыми протекло мое детство?» и отвечал: «Нет тех лип!» Это много значило для него; он не был связан ни с какою почвой. Посмотрите на большую часть людей, которых судьба так или иначе выдвинула из среды своей, как они относятся к среде. Как часто случается, купецкий сын, получивши образование, ненавидит свое сословие: отвратительно для него купечество, все купцы негодны и пошлы, и никогда не прибавит, что им трудно быть иными и что он не сам собою, а чрез образование стал выше их. Или вот иной помещик: выдернут его из степи, привезут в столицу, обломают его понятия, пересоздадут натуру барскую, научат совершенно иной жизни – как он потом относится к степнякам своим? Послушайте вы семинариста, которому счастье благоприятствовало развиться лучше братьев своих: он зол на долбню, фискальство, формализм и прочую чепуху, копившуюся в родном гнезде веками... Все они – и дворянин, и купец, и семинарист – отвернулись от своих собратий: «О, как там пошло все!.. дичь какая!» Откуда эта антипатия к родной грязи, которую человек только что успел от себя отскрести? Она понятна и законна. Как не возбудиться всей желчи, когда зло, понятое вами и отвергнутое, вы видите в самых дорогих вам людях, в том гнезде, где впервые узрели свет божий, где проснулся разум, заговорило чувство, воля попросила дел и работы? Отсюда для многих вытекают нелепые положения. Вот, например, у откупщика, скопившего тысячи при помощи мерзостей и подлостей, сын усваивает гуманные начала современной жизни, и что же выходит? – противны ему стены отцовского дома, а и жаль отца – ведь кровь родная!.. Вот и пойдет мысль ломаным путем, хочется во что бы то ни стало доказать, что незачем бичевать того, в ком зло совершается; что не лицо виновато, а закон, обычай, форма, предание, сок и кровь житейские и народные; среда нас заедает, внешние обстоятельства виноваты, действуют исторические причины... Но отчего же он? отчего другие уцелели? – Неисходное положение! Молотов был происхождения темного, мещанского, но счастлив этот юноша: в нем не было разлада молодой жизни со старою, ему не пришлось жить в сословии, в котором он родился; он говорил: «Где те липы, под которыми протекло мое детство? – нет тех лип». У Егора Иваныча никого и родни не осталось, и вышло так, как будто он и не был мещанского рода, хотя он и не думал от того отказываться. Он был счастливейший *homo novus*¹. Все это дало ему особый отпечаток. Судьба, отстранивши от него борьбу, скрывши в далеком младенчестве его мещанскую грязь, дала ему светлый, невозмущаемый взгляд на себя; держался он спокойно, ровно, с достоинством; чувствовал себя честным и свободным так же, как чувствовал себя физически здоровым. Это же самое дало ему надежду на людей; он был снисходителен, он был оптимист, и любил приникать к доброй стороне жизни, повсюду отыскивая искру Божию. Зачем же он говорил: «Где те липы, под которыми протекло мое детство?» и с грустью отвечал: «Нет их!» Но это была минутная грусть и минутное раздумье.

Однако оправдывался ли его оптимизм? ведь он жил в чужих людях. Положение человека, живущего в чужой семье в качестве ли учителя, секретаря, компаньона, приживальщика, в большей части случаев стеснительное, зависимое от нанимателя и кормильца. «Я тружусь, следовательно, независим, сам себя знаю и ни пред кем не хочу гнуть спины» – такая истина редко имеет смысл в наших обществах. Протекцию, деньги, поклоны, пронырство, наущничество и тому подобные качества надобно иметь для того, чтобы добиться права на труд; а у нас

¹ Новый человек (лат.).

хозяин почти всегда ломается над наемщиком, купец над приказчиком, начальник над подчиненным, священник над дьячком; во всех сферах русского труда, который вам лично деньги приносит, подчиненный является нищим, получающим содержание от благодетеля-хозяина. Из этих экономических чисто русских, кровных начал наших вытекает принцип национальной независимости: «Ничего не делаю, значит – я свободен; нанимаю, значит – я независим»; тот же принцип, иначе выраженный: «Я много тружусь, следовательно, раб я; нанимаюсь, следовательно, чужой хлеб ем». Не труд нас кормит – начальство и место кормит; дающий работу – благодетель, работающий – благодетельствуемый; наши начальники – кормильцы. У нас самое слово «работа» происходит от слова «раб», хотя странно – мы и у бога не рабы, а дети. Вот отсюда-то для многих очень естественно и законно вытекает презрение к труду как признаку зависимости и любовь к праздности как имеющей авторитет свободы и человеческого достоинства. Существовал ли экономический национальный закон в отношениях Обросимова к Молотову? Если да, то как же Егор Иваныч мог сохранить светлый, невозмущаемый взгляд на себя? В том-то и сила, что скорее не существовал, хотя и нельзя сказать того вполне категорически, потому что когда же наниматель, хотя отчасти, не считает себя кормильцем? Но уже и то хорошо, что экономический закон действовал слабо, незаметно. Здесь скорее действовал какой-то другой закон. Обросимов относился к Молотову почти как к равному, ласково, добродушно, благодарил за всякую услугу, иногда советовался с ним по какому-нибудь делу, вводил в интересы свои, так что Молотову казалось, будто он не чужой в семье. Он не сразу дошел до такого убеждения, боялся навязываться и напрашиваться в «свои люди» в чужую семью; но помещик, как нарочно, давал ему случай оказывать себе услуги разного рода и чрез то сближаться с ним. Молотов, посещая фабрику Аркадия Иваныча, в которой, разумеется, он не много смыслил, успел как-то заметить некоторые проделки управляющего и сообщил о них Обросимову. То была важная услуга, потому что помещик успел спасти при этом порядочный капитал. Молотову были благодарны. Однажды Егор Иваныч спросил, отчего это Володя не учится; ему сказали, что Володя учился, но теперь учителя нет. Жена Обросимова при этом выразила опасение, что мальчик многое перезабудет и ему опять придется начинать снова. Егор Иваныч с своей стороны выразил сожаление, что не имеет особенных педагогических способностей и что хотя и давал уроки в столице, но не по призванию. Однако вышло же так, что он сам предложил заняться некоторыми предметами с Володей, пока не найдут учителя, за что Обросимовы опять ему были благодарны. Так существовал ли здесь национальный экономический закон? Напротив, едва ли не наниматель был в большей зависимости от нанимающегося. Все были ласковы и любезны с Молотовым. В деревне люди сближаются скоро, и Егор Иваныч, мало-помалу оставивши осторожность и боязнь навязаться чужим людям, стал незаметно для самого себя втягиваться в семейную жизнь Обросимовых; чужие заботы делались его заботами, точно он был член семейства. С Обросимовыми он ездил к соседям в гости и со многими из них познакомился. Плебейское происхождение пока не смущало Молотова. Ничто не тревожило его гордости. Он был молод, надежд впереди много, и, значит, Егор Иваныч вполне наслаждался жизнью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.